

Ф. ИСКАНДЕР*

Человек и его окрестности** (2000-е)

<Фрагмент>

Вместо предисловия

«Человек и его окрестности» — моя последняя вещь. Каждому писателю его последняя книга кажется лучшей. Это и понятно. Иначе бы он ее не писал. Извиваясь на диалектической спирали, он думает, что наконец дотянулся до самой сочной грозди винограда и сумел всю ее целиком выдавить на рукопись. Разумеется,

* *Фазиль Абдулович Искандер* (абх. Фазиль Абдул-и а Искандер; 1929–2016) — русский прозаик, журналист, поэт, сценарист, общественный деятель. В 1979 г. участвовал в создании неподцензурного альманаха «Метрополь» (повесть «Маленький гигант большого секса»; вошла в роман «Сандро из Чегема»). После этого в течение ряда лет, вплоть до горбачёвской перестройки, испытывал проблемы с публикацией произведений в СССР. Фазиль Искандер: «Я — безусловно русский писатель, много воспевавший Абхазию. По-абхазски я, к сожалению, не написал ничего. Выбор русской культуры для меня был однозначен».

** Повесть написана в начале 2000-х.

собственное опьянение не играет никакой роли и только время покажет, насколько удачна книга.

Глава о Ленине, по-видимому, формообразующая для всей книги. Всё, что случается в остальных главах вплоть до признаков полураспада нашего государства, естественное следствие победы ленинской мысли.

Я знал безумца, занимавшегося Лениным всю жизнь и порой выдававшего себя за него. Это помогло мне вступить в довольно утомительный диалог с Лениным и написать эту главу.

В последний раз я ее переписал перед самым путчем. Я был еще в постели, когда жена сообщила мне о случившемся. Я отнюдь не вскочил. Первой моей мыслью было — конечно, теперь ее никто не напечатает. Придется опять, как в случае с «Сандро», публиковать ее за границей, если теперь это будет не слишком опасно.

Продолжая оставаться в постели, однако прислушиваясь к дверям, я подумал, что больших арестов не будет, но, вероятно, будет большой голод.

Продолжая оставаться в постели, я не мог не вспомнить и не удивиться, что мой безумец, возомнивший себя Лениным, несколько раз в течение нашей последней беседы говорил о том, что готовится переворот, и прозрачно намекал на свою аналогичную семнадцатому году роль.

Тут зазвонил телефон, и я вынужден был встать. Дело происходило на даче. Мне из моей городской квартиры звонил племянник, проездом оказавшийся в Москве. Он сказал, что только что заходил в дом один человек и спрашивал меня. По описанию этого человека я сразу понял, о ком идет речь. Гениально совпало. Он был наиболее подозреваемым из моих светских знакомцев. Что им было надо — непонятно. Сам он сгинул с тех пор навсегда.

Поэтому вернемся к моему герою. Судя по организации провалившегося переворота, можно подумать, что он его действительно возглавлял. Грубые военные ошибки, замеченные даже мной, я не буду перечислять из соображений, о которых читатель сам может догадаться. Тем более что он тоже куда-то сгинул. Я имею в виду моего героя, а не читателя, конечно. Хотя в наше время всё может быть.

Возможно, он в глубоком подполье и готовит новый переворот. Будем надеяться, что столь же «удачный». Однако бдительность терять нельзя, и редакция стоит поспешить с изданием книги.

Но если всё обернется совсем плохо, пользуясь давним знакомством с главным героем моей книги, я постараюсь защитить себя и редакцию. Я уверю его, что безумцем он назван исключительно из цензурных соображений, а ленинские мысли я нигде не иска-

зил. Почему-то сперва напечатал «искажишь». Оговорка в духе Фрейда, да еще рифмуется с моим именем. Что бы это значило? Нет, он мне поверит. Это точно.

Фазиль Искандер

Ленин на «Амре»

Юмор — последняя реальность оптимизма. Так воспользуемся этой (чуть не сказал «печальной») реальностью.

Говорили, что в городе появился Ленин. Говорили, что он ездит на велосипеде и проповедует не слишком открыто, но и не слишком таясь грядущий в недалеком будущем переворот. Говорили, что чаще всего он это делает на «Амре», верхнем ярусе ресторана под открытым небом, где многие люди, местные и приезжие, едят мороженое, пьют кофе, а иногда и чего-нибудь покрепче.

Сразу оговорюсь, что речь идет о морском ресторане «Амра», расположенном на старинной пристани в городе Мухусе. Если кто-нибудь имеет на примете какой-нибудь другой ресторан «Амра» в каком-нибудь другом городе, может быть в чем-то и созвучном моему Мухусу, пусть остерегается писать протесты. Мол, у нас на «Амре» подают не так, мол, у нашего кофевара совсем не такой нос, мол, автор всё выдумал и архитектура не та. Так вот еще раз предупреждаю: речь идет о моей «Амре» в моем Мухусе. Там всё так, как описываю я, и нос у кофевара именно такой, каким его опишу я, если вообще опишу.

Так вот. Говорили, что в городе появился Ленин. Разумеется, речь шла о свихнувшемся человеке, который иногда выдает себя за Ленина, хотя иногда и не выдает. Говорили, что, когда он не выдает себя за Ленина, он выдает себя за величайшего знатока его жизни и может ответить на любой вопрос, касающийся ее.

Хотя он родился в Мухусе и его бедная мать до сих пор жива, он всю свою сознательную жизнь проработал в Москве. Он преподавал марксизм в одном из московских вузов и долгие годы писал книгу, где восстановил жизнь Ленина иногда не только по дням, но и по часам.

Он много раз делал отчаянные попытки издать ее. Сперва при Хрущеве, потом при Брежнев. Но властям ни при Хрущеве, ни при Брежнев столь густое жизнеописание Ленина не было нужно. И тут в конце концов, как теперь говорят, у него крыша поехала.

Как это ни странно, почти всё, что люди о нем говорили, впоследствии оказалось правдой. Но кто знает тайны человеческой психики? Неизвестно, когда именно крыша поехала: тогда, когда

его упорный тридцатилетний труд отвергли все редакции, или тогда, когда он засел за этот труд?

А может, собственное имя подтолкнуло его засесть за этот труд?

Дело в том, что, к несчастью, звали его Степан Тимофеевич, как и знаменитого волжского разбойника Степана Разина, возведенного нашими историками в ранг бунтаря-революционера.

Впрочем, еще задолго до большевиков народ его сделал своим кумиром, сочиняя о нем легенды и песни. Нет народа, который не воспевал бы своих разбойников, но каждый народ делал это по-своему.

В знаменитой песне о Степане Разине воспевается как благородный подвиг то, что он швырнул за борт свою прекрасную персиянку. Почему? Потому что услышал позади ропот: «Нас на бабу променял»? Дело, конечно, не в том, что он променял на бабу своих головорезов, а в том, что у него прекрасная персиянка, а у них ее нет. Несправедливо.

Наш человек готов пойти на самое страшное преступление, если ему будет обещано равенство перед разбоем. Он понимает и принимает братство и равенство перед разбоем. Но он не понимает и не принимает братства в равенстве перед законом. Такого закона у него никогда не было, и то, что выдавало себя за такой закон, всегда было обманом. Тоска по равенству уходит в легучее равенство разбоя.

Разбой превращается в момент истины. Мечта о равенстве перед разбоем настолько его очаровывает, что он не только не думает о жалости к жертве, он заранее уверен в ее вине хотя бы потому, что она для него бездуховна, как скот, и, следовательно, резать ее можно, как скот.

Равенство перед разбоем не означает, что нажива у всех будет одинаковая. У каждого равные возможности перед разбоем, а дальше признается, что многое зависит от личной лихости, хитрости, беспощадности, везения.

Разбой, как это ни парадоксально, утоляет тоску по справедливому вознаграждению предприимчивости. Там, где нет в мирной жизни естественного вознаграждения за предприимчивость, то есть буржуазного права, там эта тоска утоляется через разбой и в момент разбоя.

Степан Разин как самый мощный предводитель своей шайки овладел прекрасной полонянкой. И это было справедливо, никто не посмел с ним тягаться. Но вот он таскается с ней по Волге. Почти женился. Чужеет. Выражаясь современным языком, он готов обуржуазиться. Он получает проценты наслаждения с капитала персиянки.

Но Степан Разин как идеальный народный герой вовремя угадывает грозную мощь недовольства своих сотоварищей. Он, а не они нарушили условия игры. Если бы вместо прекрасной персиянки рядом с ним был бочонок золота, он высыпал бы его своим товарищам и всё уладилось бы. Но персидскую княжну так разделить невозможно. Что же делать?

И за борт ее бросает
В набежавшую волну.

Мрачное великолепие равенства распределения. Никому значит — всем. Удивительна в своем гениальном простодушии строчка «в набежавшую волну». Волна, набегаая, подбегает как верная собака к хозяину. Сама природа одобряет справедливое решение. Восстанавливается мировая гармония. В одобрении природы угадывается тайная воля Бога. Он как бы сверху наблюдает за происходящим и улыбается: «Правильным путем идете, товарищи».

Что такое восточный владыка, который, появляясь перед народом, приказывает швырять в толпу серебро монет? Что такое купец, выставляющий работникам бочку вина? Что такое пиршественный стол в награду за услуги чиновника? И что такое наше шествие коллективизации и что такое тридцать седьмой год? Всё это многообразные попытки соединить нас и восстановить наше единство через нашу разбойничью прапамять. Впрочем, не будем забегать вперед, а лучше вернемся к моему земляку, однажды вообразившему, что он Ленин.

В Мухусе есть один философ-мистик (в Мухусе всё есть), так он следующим образом объясняет случившееся. Он говорит, что наш земляк, вложив всю свою душу в жизнеописание Ленина, в прямом смысле восстановил дух Ленина и этот благодарный дух, естественно, всем другим земным оболочкам предпочел оболочку нашего трудолюбивого земляка. (Почему этот дух не устремился к Мавзолею, будет понятно позже, если мне удастся довести этот рассказ до конца.)

Странно, что в моей писательской жизни фигура Ленина меня мало занимала. Сталин и интересовал и притягивал к себе. Мне казалось, что в нем тайна величайшего злодея. А Ленин как-то проходил мимо. Ну фанатик, ну рационалист, думал я, тут нет глубокой тайны личности.

Я был в Америке по приглашению русской летней школы в штате Вермонт. Вместе с женой и ребенком прожил в этой школе полтора месяца, иногда читая лекции студентам, изучающим русскую литературу, а чаще гуляя по ее зеленым, холмистым окрестностям.

Там был старик, которому девяносто с лишним лет и который когда-то организовал эту школу. Фамилия его Первушин. Он приходил на мои лекции и не только на мои, вместе со мной сюда приехало несколько московских писателей. Старик Первушин с удивительным для его возраста бодрым интересом слушал нас и даже нередко задавал вопросы.

Оказалось, он родственник Ленина. И притом настолько близкий, по крайней мере по семейным узам, что сумел при помощи брата Ленина, Дмитрия Ульянова, подделать его подпись под фиктивной заграничной командировкой и уехать из России.

Разумеется, это было при жизни Ленина. Я обратил внимание на одну деталь. Тогда для ЧК, сказал старик Первушин, достаточно было одной фамилии Ульянова. Видимо, сразу после революции Ленин еще не всегда подписывался так, как мы привыкли видеть в его факсимиле, — Ульянов-Ленин. Он еще порой по вполне понятной инерции подписывался так, как привык подписываться с юных лет.

Рассказав, благодаря чему он сумел уехать за границу, старик засмеялся тихим, воркующим смехом. Смех его можно было понять так: я правильно решил, что с историей не стоит связываться, и потому еще жив. А где те, что связались с историей? То-то же!

Это был очень милый смех. К сожалению, я больше ничего не спросил у старика о его знаменитом родственнике. Да и об этом я у него не спрашивал. Он рассказал сам. Сейчас сожалею, но, увы, поздно.

Приехав в Москву и окунувшись в нашу тревожную, издерганную, кликушескую жизнь, столь напоминающую предоктябрьскую Россию, я наконец решил почитать Ленина, к сочинениям которого не прикасался со студенческих времен.

С месяц я его упорно читал. Это было нелегкое чтение, в том смысле, что трудно было преодолеть скуку. Он чертит бесконечные круги, а иногда и виртуозные зигзаги конькобежца, но всё это происходит на одном уровне, на одной плоскости.

Но то, что естественно для конькобежца, неестественно для мыслителя. Мыслитель интересен нам тем, что он шаг за шагом углубляется в поиски истины. Нам интересен путь этого углубления, потому что это творчество, потому что он сам не знает, куда поставит ногу, делая следующий шаг. Мы видим, как он нащупывает твердую опору, вот нащупал и двинулся дальше.

Ленин заранее знает, что углубляться некуда и незачем. Он, конечно, умен в узком смысле. Ленин постоянно здрав внутри безумия общей идеи. Поражает противоречие между энергией его ума и постоянной банальностью мыслей. Обычно у больших

мыслителей нас восхищает сочетание энергии ума с большой мыслью. Нам представляется это естественным. Именно энергия ума добрасывает мысль до изумляющей высоты.

Но может быть, бывают исключения? Вопрос сам по себе интересен помимо Ленина. Можно ли представить себе певца таланта Шаляпина, который, однажды поразившись красоте «Марсельезы», всю жизнь исполнял бы только ее, пусть и в тысячах вариантов?

Можно ли представить себе писателя таланта Льва Толстого, который в силу бедности, в силу обремененности большой семьей занимался бы всю жизнь мелкой журналистикой, так и не написав ни одного рассказа на уровне своего природного дара?

Практически это представить нельзя. По-видимому, мысль о человеке в каждом человеке соответствует его природному уровню понимания человека. Этический слух вроде музыкального слуха, его можно слегка усовершенствовать, но нельзя изменить его врожденную силу.

Невысокий уровень понимания человека Лениным объясняется, я думаю, не тем, что огромная революционная работа отвлекала его мысль от этого. Наоборот, сама огромная революционная работа была следствием невысокого уровня понимания природы человека. Она освобождала и его душе невероятную радостную энергию разрушения.

Представим себе карточного игрока, который разработал убедительную теорию выигрыша. Но эта теория требует большой игры, больших денег, которых у него нет. Представим себе, что он открыл эту теорию очень богатому человеку и тот предложил ему на каких-то условиях играть на его деньги.

И он сел играть. Но оказалось, что теория не работает. Однако он играет и играет и в конце концов проигрывается в пух и прах. Почему он не остановился, почувствовав, что теория не работает? И потому что азарт подхлестывал и, главным образом, потому что он не свои деньги проигрывал.

Так и великий революционер. Он играет на чужие деньги. Каламбур относительно денег Вильгельма тут неуместен. Он играет жизнями миллионов людей. Если бы его заранее могла потрясти мысль о проигрыше, мысль о напрасной гибели множества людей, он бы не брался за дело революции. Но почему эта мысль ему не приходит в голову? По причине невысокого уровня понимания природы человека. Но откуда этот невысокий уровень понимания природы человека? Если сократить сложнейшую дробь его собственной природы, останется главное — нравственная туповатость.

С яростью и необыкновенным темпераментом постоянно обрушиваясь на старую мораль и мечтая о создании нового социа-

листического человека, неужели он не понимал, что если вообще и можно создать новую мораль, более совершенную, чем старая, то это дело тысячелетий? И как можно начинать новую жизнь с разрушения старой, тоже тысячелетней, морали? Это всё равно что посадить росток хлебного дерева и тут же сжечь колосящуюся, пусть не в полную силу, пшеницу.

В сочинениях Ленина нет никакой мудрости. Он всегда торопится, всегда пристрастен. По-видимому, чтобы быть мудрым, надо думать много, но лениво. Только тот, кто думает, забывая о том, что он думает, может до чего-нибудь додуматься. Чтобы думать, надо выпасть из жизни. Дар философа — дар выпадения из жизни при сохранении памяти о ней.

Осмелюсь оспорить знаменитый афоризм Маркса: философы до сих пор объясняли мир, а дело в том, чтобы его изменить. Как только философ начинает изменять жизнь, он теряет возможность справедливого суждения о ней, потому что он становится частью потока этой жизни. И чем сильнее философ меняет течение жизни, войдя в ее поток, тем ошибочней его суждения о том, что делается в ней. И теперь шанс на справедливое суждение о жизни, которую изменяет и в которой барахтается наш философ, имеет только другой философ, который, сидя на берегу, наблюдает за тем, что происходит в потоке.

Но если он, видя своего собрата барахтающимся в потоке, сам бултыхнулся в поток, с тем чтобы объяснить ему его ошибки, всё равно информация, которую он ему передаст, будет уже неверна, потому что он сам, окунувшись в поток, еще раз изменил его свойства.

Так бедный Мартов то окунался в поток, где барахтался Ленин, то выплывал из потока и кричал ему с берега о его ошибках, но они уже были обречены не понимать друг друга. А Ленин в это время целенаправленно греб внутри водоворота, принимая каждый свой круг в бурлящей воронке за очередную диалектическую спираль, пока, скрюченной судорогой, не задохнулся.

Одним словом, при чтении Ленина у меня возникло много недоуменных вопросов. Кстати, я заметил и его сильные человеческие черты. Например, редкое самообладание, по крайней мере в письменных источниках. Чем трагичней ситуация, тем яростней и неуклонней он проводит свою волю. Никакой паники, никакой растерянности.

Я написал и напечатал статью, где высказал немалые сомнения по поводу его мыслей и образа действий. Я об этом сейчас пишу, потому что это имеет отношение к тому, что собираюсь рассказывать.

Итак, в Мухусе появился Ленин. Я стоял со своим двоюродным братом Кемалом, бывшим военным летчиком, а ныне пенсионером, на маленькой, уютной улочке, обсаженной старыми платанами. Я расспрашивал его об этом человеке. Брат неохотно отвечал. Он явно не одобрял моего любопытства.

— Большой нахал, — сказал он про него.

— Почему? — спросил я.

— Он получал вместе с нами продукты в магазине ветеранов, — сказал брат, — а потом выяснилось, что он на войне никогда не был... Подозрительная личность... А вот и он!

Брат кивнул в сторону человека, который высочил из-за угла на велосипеде. Я его сразу узнал, и он меня сразу узнал.

— Два брата-акробата! — зычно закричал он и, воздев руку, добавил: Читал вашу статью! Не согласен принципиально! До-спорим в «брехаловке»!

С этими словами он поймал рукой виляющий руль и промчался мимо. Он был в матросской тельняшке с короткими рукавами, обнажавшими неожиданные для меня крепкие, цепкие руки. Мелькнуло знакомое, сейчас сильно загорелое, плотное лицо со светлыми глазами и большой лоб, отнюдь не переходящий в лысину. Я, конечно, знал его хорошо, но просто забыл о нем. Лет пятнадцать назад в Москве он приходил ко мне со стихами. Тогда он позвонил по телефону, назвался моим земляком и попросил прочесть его стихи.

Когда я открыл на звонок, в дверях стоял коренастый человек среднего роста, светлоглазый, лобастый, но о сходстве с Лениным не могло быть и речи. Чуть склонив голову, он внимательно рассматривал меня, коротко комментируя свои впечатления:

— Похож. Да, похож. Хотя и не очень. Слегка подпорчен.

— На кого это я похож? — спросил я, несколько настораживаясь.

— Да на брата-летчика! — крикнул он радостно и, рванувшись ко мне, обнял и успел чмокнуть в щеку. После этого, как бы доказав право на родственность, он быстро разделся и стал рассказывать о себе, глядя в зеркало и подправляя расческой вьющиеся светло-каштановые волосы.

Так ведут себя с давно знакомым человеком в давно знакомом доме. Да, я забыл сказать, что перед этим он с каким-то облегчением сунул мне в руку красную папку со стихами. Я как дурак взял ее и несколько посурил как бы за счет взваленной на себя ответственности. Я решил быть с ним посуше и для начала хотя бы отсечь родственный пыл.

Усевшись на диван и поглядывая на меня яркими, светлыми глазами, он стал рассказывать о себе. Зовут его Степан Тимофеев-

вич. Живет в Москве. Женат. Преподает марксизм в институте, название которого я тут же забыл. Он вспомнил нескольких коренных мухусчан, наших общих знакомых. Мы тут же заговорили об их странностях и чудачествах. Я потеплел.

Он был бесконечно доброжелателен. То и дело всхохатывал, вскакивал с места, садился, шутил. Потом я читал его стихи, а он ходил возле книжных шкафов, как бы приветствуя некоторые книги как старых друзей и одновременно ненавязчиво показывая степень своей интеллигентности.

Стихи его оказались вполне грамотными и вполне бездарными. Тематика была революционная. Преобладали стихи о Ленине. Я довольно кисло отозвался о них, но, чтобы подсластить пилюлю, попросил принести что-нибудь еще. Он нисколько не обиделся на мой отзыв, и это мне понравилось.

Тогда же он мне сказал, что собирается опубликовать свой пожизненный труд — Лениниану. Это меня нисколько не удивило. Почти каждый преподаватель марксизма мечтает написать книгу о Марксе или о Ленине. В крайнем случае об Энгельсе.

Однако развить эту тему я ему не дал, чувствуя, что в этом человеке слишком много энергии и нам хватит разговора о невинных чудачествах наших знакомых, даже если они, эти чудачества, иногда переходят в необъяснимые странности. Впрочем, он сделал еще одну попытку прорваться и воскликнул:

— Когда будут опубликованы сто двадцать семь любовных писем Ленина к Инессе Арманд, мир узнает, что этот пламенный революционер умел любить как никто в мире!

— Что же он не женился на ней? — все-таки полюбопытствовал я, однако голосом давая знать, что речь идет о короткой справке. И он это понял.

— Не мог бросить Надежду Константиновну! — с жаром воскликнул он. — У нее была базедова болезнь, и он не мог бросить больную жену! Благородство этого человека невероятно. Мир должен знать о нем!

Я, как и мир, кое-что знал о благородстве этого человека, но промолчал. Одним словом, я кисло отозвался о его стихах и сказал, чтобы он показал что-нибудь другое. В течение двух лет он побывал у меня несколько раз. Стихи менялись, но тематика только сгущалась и грозно, как я теперь понимаю, сосредоточивалась на Ленине. Они как бы не отличались от обычных графоманских стихов о Ленине. О том, что Ленин в метафорическом смысле жив, писали все. А мой земляк сосредоточился на мысли о новой необыкновенной встрече народа с Лениным: «Ленин грядет», «Ленин среди вас», «Недолго ждать Ленина» и тому подобное. Опять же

и эти мотивы не были чужды нашей поэзии, но мой земляк явно перебарщивал.

— Устал бороться за издание Ленинианы, — как-то сказал он мне, двусмысленно подмигивая, — я готов поделиться гонораром с тем, кто протолкнет мою книгу. Баш на баш, идет?

— Нет, — сказал я, — это мне не подходит.

— Неужели баш на баш не подходит? — удивился он и неожиданно добавил: — А если так: треть гонорара мне, треть вам, треть директору издательства?

— Неужели вы не видите чудовищного противоречия, — сказал я, осторожно горячась, — вы живете в государстве Ленина, вы своей книгой славите Ленина, а ее не хотят печатать? Как это у вас в диалектике: отрицание отрицания?

— Ни малейшего противоречия! — воскликнул он. — Сталин совершил тихий контрреволюционный переворот! Надо готовить новую атаку. Моя Лениниана алгебра революции, потому они и не хотят ее печатать.

Я промолчал. Черт его знает, кто он такой! Может, он — оттуда? Почему бы им не использовать чудаковатых людей? Да это уже и было. После издания в Америке моего неподцензурного «Сандро» я ждал какой-нибудь подлости. И вдруг является один мой давний знакомый и после короткого, ни к чему не обязывающего разговора уводит меня на мой собственный балкон, якобы боясь подслушивающего устройства, и говорит мне там, что из Европы приехал его друг, вполне надежный человек, и можно через него отправить на Запад непечатную рукопись.

— Нет такой необходимости, — холодно ответил я ему.

Мне показалось, что он облегченно вздохнул: и задание выполнил и предательство не совершилось. Мы зашли в комнату.

— А для чего это? — кивнул он на письменный стол, где рядом с машинкой лежал абхазский пастушеский нож как защитник певца пастушеской жизни.

— А это на случай хулиганства, — очень внятно сказал я, чтобы и там, откуда он пришел, это было расслышано. Вскоре он ушел и больше никогда не появлялся. Мне тогда показалось, что тот раунд я провел хорошо и выиграл его. Мне и сейчас так кажется, но ведь нельзя быть до конца уверенным, что он был человеком оттуда. Но такой была наша жизнь в те времена.

Так или иначе, мой земляк мне надоел, и я решил отделаться от него под видом помощи. Я решил написать рекомендательное письмо в редакцию одного сравнительно либерального журнала, где я печатался и где меня хорошо знали. В конце концов, пусть они занимаются такими авторами, они за это деньги получают.

Я написал, как мне показалось, ловко замаскированную ироническую записку, где рекомендовал журналу начинающего поэта и известного преподавателя марксизма. (Известного кому? Ленин здесь поставил бы свое ироническое: sic!) Отметив, с одной стороны, литературную наивность начинающего поэта, я, с другой стороны, похвалил его упорное стремление воспеть чистоту революционных идеалов.

Я был доволен. Мне показалось, что записка не ловится ни с какой стороны. Я был уверен, что мои друзья из журнала мгновенно поймут, что это шутка. А он не поймет. Я передал ему записку и размяк от тихого и радостного предчувствия конца нашего романа.

Прочитав записку, он вскинул голову и неожиданно смачно поцеловал меня прямо в губы. Черт бы его забрал! Я расслабился и не сумел воспользоваться древней писательской мудростью: если графоман целует тебя в губы, подставь ему щеку.

Кстати, без дальнейших сентиментов он тут же деловито удалился. Даже стало как-то немного обидно. Я хотел, конечно, чтобы он быстрее ушел. Но я хотел, чтобы он ушел, благодарно помешкав. А получилось, что, захватив записку и наградив меня смачным поцелуем, он даже как бы переплатил и теперь не намерен терять со мной ни секунды.

У меня было неприятное предчувствие, что поцелуй этот добром не кончится. Так оно и оказалось. Через три месяца журнал напечатал его стихи, предварив их моей рекомендацией. Этого не должно было случиться, но случилось. Я всё учел, кроме безумия нашего мира, а его-то и надо было учитывать в первую очередь.

Я потом звонил в редакцию своему приятелю, вполне либеральному литератору, занимавшемуся там стихами. Оказывается, стихи моего земляка с пришпиленной к ним запиской лежали на его столе, когда к нему в кабинет неожиданно вошел редактор журнала. Он машинально взял со стола стихи, увидел пришпиленную к ним мою записку и унес всё это к себе в кабинет как коршун добычу.

Дело в том, что редактора этого журнала критика иногда клеветывала за направление и он решил этими стихами укрепить идейную платформу журнала. Сам он был не такой уж либерал, но его несло по течению хрущевского времени. Кресло редактора под ним то и дело неприятно всплывало, но приятно покачивало. И он тосковал по устойчивости. Он хотел, чтобы кресло редактора приятно покачивалось, но не всплывало.

— Я, конечно, сразу всё понял, — оправдывался в телефонную трубку мой приятель, — но так получилось. Редактор влетел и забрал стихи с твоей запиской. Обычно он воротил губу и от тех

стихов, которые мы ему подсовывали, а тут сам забрал и в тот же день отправил в набор. Не горюй! Про тебя в Высоком Учреждении сказали, что ты оказался лучше, чем они думали. Пригодится!

После этой публикации от моего земляка не было больше звонков. Я старался забыть о его существовании и в самом деле забыл.

Года через два, а может, чуть больше, один мой знакомый психиатр пригласил меня на хлеб-соль и воскресную лыжную прогулку. Он жил и работал за городом. Думая, что я буду отбиваться, он решил заманить меня и пообещал показать пациента, чья мания такова, что о ней нельзя говорить по телефону.

Это был исключительно милый и хлебосольный человек. И я ринулся. В яркий, морозный день я вышел из электрички и пошел в сторону больницы. На перекрестье деревенских дорог я увидел сани, на которых было два человека седок и возница. Они как бы раздумывали, в какую сторону ехать. Оба были сильно укутаны. Я подошел и, показывая рукой в ту сторону, откуда они приехали, для подстраховки, спросил:

— Больница там?

— Скажите этому невежде, — клубясь морозным паром, не глядя прогудел седок сквозь кашне, укутавшее лицо, — что там находится мое имение! Что им надо? Я с девятьсот шестнадцатого года не занимаюсь политикой! Пошел!

Последнее относилось явно к вознице. Возница успел кивнуть, но после слов седока можно было смело идти по свежему следу саней. Голос седока мне показался знакомым, но я тогда не обратил на это внимание. Я двинулся дальше, вспоминая слова седока и находя в них много скрытого юмора.

Он, конечно, имел в виду, что его преследует полиция. Говоря, что с 1916 года не занимается политикой, он хотел внушить, что к делам революции семнадцатого года он не имеет отношения. Революция, видимо, подавлена. Участников ее преследуют. Этот отсидживается в имении и в качестве алиби называет шестнадцатый год. Почему так близко? Слишком видный революционер, назвать более далекий год неправдоподобно.

Так я расшифровал его слова, подходя к сумрачному зданию, которое, увы, казалось бедняге его имением. Мой хозяин, добряк-богатырь, провел меня в свой кабинет и, чтобы отогреть с морозу, угостил спиртом. Пришли сотрудники, и мы, как говорится, подзарулили. Кстати, он хотел показать мне пациента, который выдает себя за Ленина, но я не проявил к этому ни малейшего любопытства.

— О Сталине ты уже написал, — сказал мой благодушный хозяин, — я думал, ты теперь интересуешься Лениным.

— Нет, — сказал я, — со Сталиным у меня были свои счета. А Ленин — это слишком далеко.

И тогда один старенький психиатр, сидевший с нами за столом, сказал забавную вещь. Он сказал, что при Сталине страх перед ним был столь велик, что ни один психический больной с манией величия не выдавал себя за Сталина.

Если это действительно так, значит, зарубка страха в голове заблудившего человека была настолько глубокой, что давала о себе знать и после того, как человек заболел.

Застолье незаметно переместилось в квартиру моего приятеля. Я продолжал пить, хотя, как потом выяснилось, меня надо было остановить. Но все мчались параллельно, и поэтому останавливать было некому. Оказывается, уже в его кабинете, взобравшись на подоконник, я кричал в форточку:

— Советский псих самый нормальный в мире!

Следует обратить внимание на то, что эта пьяная фраза, которую я хотел прокричать миру и даже прокричал ее неоднократно, тоже не ловится. Так что наблюдение старого психиатра подтверждается. Опьянение можно считать, конечно до определенной поры, незлокачественным вариантом безумия. В ослабленном виде повторилась та же схема.

Утром было тяжело. Но я, преодолевая похмелье, пытался стать на лыжи. Богатырь хозяин вдруг схватил мою руку:

— Дай-ка послушать пульс! — Послушал и твердо приказал: — Домой. В постель.

Мы вернулись к нему домой, я лег в постель, хотя ничего особенного не чувствовал, кроме похмельной тоски. Но так как похмельная тоска своей смутной неопределенностью напоминает тоскливое чувство вины перед тем, что творится в стране, я к этому состоянию достаточно привык и был спокоен.

Я лежал в кровати, а мой хозяин хватался за голову и с чувством вины, возможно похмельно преувеличенным, повторял:

— Как я мог забыть об этом! — По его словам, медицинский спирт уже несколько лет как испортился. У пьющих медиков организм адаптировался к этому спирту, а я был свежий человек. Действительно, я пил спирт много лет назад в Сибири, и, судя по всему, тогда он еще не был подпорчен позднейшими примесями.

Если испортился спирт, подумал я, то есть вещество, предназначенное самой своей природой удерживать всё от порчи, значит, плохи наши дела. А мой неугомонный хозяин вызвал каких-то врачей с аппаратурой, проверяющей состояние сердца, и эта аппаратура, как впоследствии выяснилось — тоже порченная, злобно показала: инфаркт.

К счастью, тьфу! тьфу! не сглазить! — никакого инфаркта в помине не было и нет. Но пока выяснилось, что аппаратура пошаливает, и всё в одну сторону, представляю, сколько пережил мой хозяин. Разумеется, мне он ничего не сказал тогда об этом.

К вечеру я окончательно оклемался, и он меня привез в Москву на своей машине. Так что я не знаю, был ли его пациент именно моим земляком или это совсем другой человек. И спросить теперь не у кого, потому что мой богатырь теперь в Израиле. Такого неожиданного сальто, учитывая его могучую комплекцию, и такого точного приземления на небольшой территории я от него не ожидал. Впрочем, возможно, он и сам не подозревал в себе такой прыти.

А случилось вот что. Однажды ночью после крепкого возлияния он провожал на электричку своего друга. Видимо, им вместе было так хорошо, что они, гуляя по платформе, пропустили несколько электричек. Но в России нельзя забываться. Особенно когда тебе хорошо, тем более когда тебе хорошо ночью на загородной платформе.

Видимо, пока они гуляли по платформе, какие-то мрачные типы взяли их на мушку. Наконец мой любвеобильный хозяин заботливо посадил своего друга на электричку и пошел домой. Богатырь своим богатырством сам провоцирует удар сзади. Кто-то сзади ударил его чем-то тяжелым, и он потерял сознание. Пришел в себя — лежит на снегу, карманы выворочены, шуба и шапка исчезли. Еле дополз до дому и тут-то, вероятно, вспомнил, что у него мать наполовину еврейка.

И он заторопился в Израиль, а до этого совсем не торопился, я даже не знал, что у него есть такая возможность. И вот он со всей семьей уехал в Израиль, оставив своих психов черт знает на кого.

Хлебосолье — прекрасное свойство, но тут уж слишком. Теперь понятно, что он с еврейской энергией расширял свои русские возможности. Но поможет ли Израиль в этом случае? Кто его знает. Разве что шубу не снимут. Это точно.

Читатель может спросить: какое всё это имеет отношение к тому, что я собираюсь рассказать? Отвечу коротко, даже огрызнусь: раз написалось, значит, имеет.

...И вот я сижу за столиком в верхнем ярусе ресторана «Амра». Слава Богу, здесь всё как раньше. Только цены подпрыгнули и замерли, чтобы никто ничего не заметил. Я сидел лицом к входу, чтобы не пропустить его, и поневоле любовался городом своей юности.

Слава Богу, всё та же береговая линия, всё так же возвышаются дряхлеющие эвкалипты на приморском бульваре, всё так же сквозь

густую зелень белеют дома, всё так же уютно выглядит приморская гостиница, если, конечно, не знать, что она после пожара начисто выгорела изнутри. Так как виновник пожара не был найден, решили, что он по неосторожности сгорел вместе с гостиницей. Говорят, что ее теперь отстраивают турки и поляки. Точно так же и в Москве, и в Ленинграде многие знаменитые здания реставрируются турками и финнами. То, что кажется побочным признаком конца империи — исчезновение мастеров, на самом деле является ее главным признаком.

Справа от меня, ближе к выходу, у самых перил ресторанный ограда, сидело трое молодых людей. Двое из них были одеты в ослепительные белые рубашки, а третий был одет в пурпурную шелковую рубашку, трепещущую и вскипающую под ветерком. Видно, он недавно ее приобрел, потому что время от времени замирал и любовался струящимся красным шелком. Они попивали кофе, рассказывали друг другу веселые истории и оглядывали входящих девушек. Народу в ресторане было довольно много. Было жарко, но под тенистыми тентами жара не чувствовалась. А столиков под тентами, как всегда, не хватало. Те, что сидели под тентами, явно не спешили их освободить, именно потому что некоторые клиенты упорно дожидались их освобождения.

Со стороны моря раздался завывающий шум приближающегося глссера. Шум внезапно оборвался у самой пристани ресторана.

— Бочо пришел! — сказал один из ребят и, склонившись над перилами, посмотрел вниз.

— Второго такого хохмача в городе нет, — добавил краснорубашечник.

— Интересно, что он сейчас скажет, — заметил третий.

В самом деле, через несколько минут над перилами ресторанный палубы появилась курчаво-волосая голова с бронзовым, загорелым лицом. Он поднялся сюда по железной лесенке.

— Девушки, где вы? — зычно закричал он. — Спешите на морскую прогулку, пока я здесь! В летний сезон беру клиенток от двадцати до сорока лет! Старше сорока можете оставаться на местах — только в зимний сезон.

Девушки ринулись к нему. Одна женщина поднялась было, но, услышав конец его призыва, замешкалась, как бы пытаясь вспомнить свой возраст. Припомнив, погасла и села.

Молодыми застольцами она была тут же замечена, и они, кивая на нее, стали покатываться от хохота. Шесть девушек уже стояло около водителя глссера.

— Вы! Вы! Вы! Вы! — тыкая пальцем, указал он на четырех девушек и отсек остальных: — А вы ждите следующего заезда!

Водитель глссера сошел с лестницы и отступил на деревянную палубу по ту сторону ограды. Одной рукой держась за перила, он другой помогал девушкам перелезть через ограду и спуститься вниз по железной лесенке. Одновременно он весело и хищно оглядывал палубу ресторана. Заметив ребят, сидевших справа от меня, он, продолжая помогать девушкам, стал громко рассказывать:

— Сейчас от хохота умрете. Вчера сидим дома и обедаем всей семьей. Со двора подходит к окну соседка и кричит: «Наташа, ты дома. Что делаешь?»

«Обедаю, — отвечает жена. — Обедай, обедай! — кричит соседка. — А в это время твой муж и мой дурак с двумя курортницами уехали гулять в Новый Афон. А ты сиди обедай с детьми!»

Я умираю от хохота, а жена смотрит на меня: готова убить. Наконец кричу этой соседке:

«Я твоего дурака три дня уже не видел!»

«Что, приехал уже?» — говорит соседка и быстро уходит. Стыдно.

«Ты видишь, — говорю я жене, — как клеветают на нашу дружную, прекрасную семью. Тебе женщины завидуют, хотят нас поссорить». Приеду, расскажу еще одну хохму.

— Бочо, а куда ты дел тех девушек, которых катал? — спросил краснорубашечник.

— Как куда? — встрепенулся Бочо. — В родильный дом отвез!

Ребята стали хохотать. Последняя девушка, перелезавшая через ограду, вздрогнула и отдернулась.

— Не бойтесь, девушка, — живо откликнулся Бочо, продолжая держать ее руку в своей ладони, — я их на пляже высадил. Кто так шутит, никогда не тронет. А тот, кто тронет, — никогда так не шутит.

Девушка рассмеялась и окончательно перелезла через ограду.

— Вам остается понять, шучу я или нет! — крикнул Бочо вниз, уже спускающейся по лесенке девушке. Подмигнув ребятам, хохмач быстро спустился за нею.

Через минуту взвыл мотор, и глссер ушел в море.

— Вот Бочо дает! — с восхищением сказал тот, что был в красной рубахе.

— А вообще он гуляет? — спросил второй.

— По-моему, нет, — сказал третий, — у меня была одна приезжая чувиха с подругой. И деньги у меня были тогда. Я встретил Бочо и говорю: так и так. Бабки у меня есть. Займись подругой моей девушки. Пожалуйста, говорит. Приходим в ресторан. Я заказываю всё что можно. Бочо наворачивает и хохмит так, что девушки падают. Даже моя стала к нему клеиться. Клянусь!

Но обидеться нельзя — Бочо! Только поужинали, как он встает и говорит:

«До свиданья, девушки. Спасибо за компанию, но меня ждет красавица жена!»

— А у него в самом деле красавица жена, — вздохнул тот, что спрашивал.

— Не в этом дело, — поправил его краснорубашечник, — он, учти, гуляет в глубоком подполье.

Я, видимо, так увлекся жизнью молодых людей, что не заметил, как появился тот, кого я ожидал.

— Не согласен принципиально и окончательно, — раздался над моей головой веселый и твердый голос.

Я вздрогнул. Это был он. Всё в той же тельняшке с короткими рукавами, в черных вельветовых брюках и в парусиновых туфлях швейцарской белизны. Ясно было, что они недавно начищены зубным порошком. Он стоял передо мной плотный, коренастый. Мускулистые, борцовские руки скрещены на груди. Загорелое, готовое к бою плотное лицо, маленькие, живые светлые глазки. Металлический колпачок ручки, прищепленный изнутри на груди тельняшки, вспыхивал и отражал солнечный свет.

— Присаживайтесь, — сказал я, — сейчас закажем кофе, коньяк.

— Какая же это свобода, — сказал он, стремительно присаживаясь за столик, стремительно наклоняясь ко мне и стреляя в меня светлыми пулями глаз, — вы лишаете великого человека права на эксперимент, которого ждали тысячелетия! Какая же это свобода, батенька?

— Да, лишаю, — сказал я, — человек может экспериментировать над собой. В конце концов люди его образа мыслей могли собраться, купить в России или в Европе большой кусок земли, заселить его и проводить в своей среде социальные опыты.

— Социализм в лаборатории — это, батенька, чепухенция! — воскликнул он, взмахнув рукой над столом. — В том-то и драма великого Ленина, что он заранее знал о невероятной тяжести исторического сдвига и все-таки пошел на это. И когда надо будет, еще раз пойдет!

— Только, знаете, — сказал я ему, — если можно, без этих словечек: батенька, ни-ни, гм-гм. Особенно ненавижу гм-гм.

— Гм-гм, — незамедлительно произнес он, как бы для того, чтобы тут же, не сходя с места, утвердить свои права.

Я вспомнил, что точно так же в детстве мой сумасшедший дядюшка, бывало, если кто, выходя их комнаты, плотно прикроет дверь, тут же вскакивал и пробовал открыть в знак того, что никто не смеет его запирасть, хотя его никто никогда не запирали.

— Запретить, конечно, я не могу, — сказал я мирно, — но постарайтесь, если можете.

— Я сказал «гм-гм» не нарочно, — пояснил он, — этим выразил сомнение в вашей демократичности.

— Так и скажите: сомневаюсь в вашей демократичности.

— Зачем мне говорить столько слов, когда я коротко говорю то же самое: гм-гм.

— В этом «гм-гм», — сказал я, стараясь быть доходчивым, — слышится какое-то подлое высокомерие. Как будто вы настолько выше собеседника, что он не стоит слов.

— Гм-гм, — сказал он опять, но, спохватившись, добавил: — Это я не по отношению к нашей беседе, а по отношению к тому, что вы считаете высокомерием.

Я понял, что эта мелкая перепалка может длиться бесконечно.

— Ну, как хотите, — сказал я и, стараясь поймать его в самый миг отклонения в безумие, спросил: — Что значит: «Ленин еще раз пойдет»? Появится новый Ленин?

Взгляд его отяжелел. Но мне показалось, что он взял себя в руки.

— Не новый, но обновленный новыми историческими условиями, — сказал он уклончиво и одновременно твердо.

Я подозвал официантку, которая, стоя в сторонке, почему-то обидчиво поглядывала на нас. Она подошла.

— Вы пьете? — спросил я у него.

— Слегка балуюсь, — живо отозвался он.

Официантка нахмурилась.

— Два кофе и триста грамм коньяка, — сказал я и, обращаясь к нему, добавил: — Может, что-нибудь еще?

— Мороженое, — попросил он коротко, — умственная работа требует сладости.

Я вспомнил, что мой сумасшедший дядюшка тоже любил сладости. Тогда, в детстве, я изредка мог позволить себе угостить его лимонадом.

— Может, три порции? — спросил я.

— Три! Три! — вспыхнул он. — Вы угадали мою норму! Люблю иметь дело с проницательными людьми, хотя от принципов не отступаю.

Официантка еще больше нахмурилась и, записав заказ, обрattилась ко мне:

— Вы тут новый человек, умоляю: если дядя Степа начнет говорить, что он Ленин, остановите его или позовите меня. Я его попрошу отсюда. Я знаю, что сейчас свобода, но стыдно перед людьми... И Ленина жалко...

— Лениньяна продолжается, — загадочно заметил мой собеседник.

— Вы опять за свое? — с горьким сожалением сказала официантка.

— Дорогая, не забывайте, что я бывший доцент московского вуза, — не без надменности произнес мой собеседник.

— Вот именно — бывший, — мстительно подчеркнула официантка.

— «И за борт ее бросает в набежавшую волну», — неожиданно пропел мой собеседник хорошим баритоном. Он пел, глядя на официантку, и пение его как бы означало шутливую угрозу по отношению к ней и одновременно обещание, оставаясь в рамках Степана Разина, выполнить ее просьбу.

— Оставьте, ради Бога, — сказала официантка и отошла.

Мне не хотелось с ним спорить. Но мне хотелось у него что-то спросить, раз уж он так много знает о жизни Ленина. Дело в том, что, будучи за границей, я прочел одну книжку, где доказывалось, что знаменитое покушение на Ленина Фанни Каплан было организовано Сталиным и Дзержинским. Никакого убедительного доказательства автор не приводит, и всё это как-то не похоже на правду. Но там были вещи, которые показались мне бесспорными.

Ссылаясь на газету «Известия», где была помещена информация о покушении на Ленина, автор пишет, что выстрелы раздались с разных сторон. Не мог же он это выдумать, зная, что эту информацию легко проверить? Но может быть, эту информацию «Известия» дали сгоряча, по слухам? Было ли позже в «Известиях» опровержение этой информации, уточнения?

Автор пишет, что Фанни Каплан, выстрелив в Ленина несколько раз на глазах у толпы рабочих, пробралась сквозь эту толпу, дошла до достаточно далекой от завода трамвайной остановки и только там, и то случайно, была схвачена. Если это действительно так, что можно подумать об истинном отношении рабочих к Ленину?

И потом слишком быстрая казнь Фанни Каплан. Странно. И это, пожалуй, работает на версию автора. Как бы ни были в те горячие времена быстры на расправу, но казнить через день или два эсерку, стрелявшую в главу государства, это не укладывается ни в какую здравую версию. Может быть, была угроза захвата Москвы белыми? Нет, этого не было. Тогда в чем же дело? Ведь толковые следствия было в интересах самой власти. Кто спешил и почему спешил, наспех казнив Фанни Каплан?

Обо всех этих сомнениях я ему рассказал. Он внимательно выслушал и вдруг воскликнул:

— Так вы и об этом знаете!

И, как бы боясь, что потом забудет, но важно, чтобы правда была полной, лихорадочно добавил:

— Только Дзержинский тут ни при чем! Запомните! Запомните! Запомните!

— Ну а как это было, если вы знаете?

Он тихо и подозрительно посмотрел по сторонам. Глаза его горели. Он наклонился ко мне и прошептал:

— Я вам всё расскажу. Вы наш, хотя и сами не подозреваете об этом.

— В каком смысле?

— В прямом. В трудную минуту вы оказали нам неоценимую помощь.

Казалось, он успокоился. Во всяком случае выпрямился.

— Какую?

— Вы помогли мне напечатать стихи, которые отвергли все редакции. Тем самым вы помогли поддержать дух народа, теряющего всякую надежду. Народ ждет Ленина. Вы наш. Вы же любили в детстве революционные песни?

Он пронзил меня буравчиками глаз. Я похолодел от чудовищной догадки. Откуда он это может знать? Это первая глава моей новой вещи! Ее еще ни один человек не видел! Я ее оставил в Москве у себя на столе! Украли! Украли! Никакого сумасшедшего не было и нет! Он оттуда! И стихи о Ленине были проверкой на лояльность! Но я случайно вывернулся тогда! Чего они хотят? Проверяют степень стойкости к безумию? Глупость! Держать себя в руках!

— Да, — сказал я, стараясь скрыть волнение, — я в самом деле в детстве любил революционные песни. Но откуда вы знаете это?

— Я всё знаю, — сказал он, насмешливо глядя на меня, — но почему вы смутились? Стыдитесь? Запомните, тот подлец, кто в детстве не любил революционных песен. Я тоже любил! Так, как я, никто их не мог любить!

Вместе с этими словами буравчики его глаз погасли, и в них появилась вопрошающая, умоляющая тоска по разуму. О, как я знал это выражение по глазам дядюшки! Бывало, я дразнил его, переодевшись в чужие одежды. Он смотрит на меня и узнавая и не узнавая меня, и глаза его карабкаются к разуму, чтобы понять происходящее. Господи, прости!

И сейчас казалось, двойник Ленина в невероятной тоске по разуму намекает на причину своего безумия и отсылает к подлинному Ленину, пытаясь уверить, что и его ошибки имеют тот же благородный источник.

Нет, брат, подумал я, этот номер не пройдет. А что касается песен — он прав. В самом деле так и есть: тот подлец, кто в дет-

стве не любил революционных песен! И тот дурак, кто, будучи взрослым, не понял, что хорошая революционная песня отражает религиозную тоску по братству и обновлению жизни. Она не виновата в кровавом фарсе революции.

И нельзя винить ее, даже если она способствует революционным страстям. Где граница? Нет границы! Это всё равно что винить разум в том, что иные люди слишком пристально вглядываются в будущее и видят там свою могилу. Виноват ли разум, хотя, не будь разума, человек не знал бы, что он смертен? Значит, он сам в конечном итоге должен найти равновесие между бездной жизни и бездной небытия. Так и в искусстве, так и в песне.

Мой собеседник опять загравленно огляделся и низко наклонился над столом, приглашая меня сделать встречный наклон.

— Посмотрите сюда. Только вам, — сказал он доверительно.

Двумя пальцами сильной, загорелой руки он оттянул край тельняшки у горла, приглашая меня заглянуть туда. Я увидел на бледном плече его два розовых шрама. Куда он клонит — не оставалось сомнения.

— Тише! К нам идут! Ни слова! — прошипел он и, бросив тельняшку, выпрямился над столом.

К нам быстро подошла наша разгневанная официантка.

— Вы опять за свое? — закричала она. — Я видела, что вы показывали! Я вас выведу отсюда!

— А что я показывал? — удивленно развел руками мой собеседник. — Я показывал след от фурункулов. Маркс тоже, когда работал над «Капиталом», страдал от фурункулов. «Дорого обойдутся мои фурункулы буржуазии», говаривал он в те времена.

— Значит, теперь Марксом заделались, — сказала официантка, явно сбавляя тон, — Господи, что за человек!

Она отошла, как бы примиряясь с меньшим злом.

— Конспирация, конспирация и еще раз конспирация, — сказал мой собеседник, явно довольный собой.

— Так, значит, стреляли в вас?

— А в кого же еще?

— Но ведь с тех пор прошло столько времени, — сказал я вразумительно, — разве вы похожи на человека, которому больше ста лет?

Он улыбнулся улыбкой взрослого, который слышит детские речи.

— Мой настоящий биологический возраст, — сказал он, стараясь быть четким, — это годы, которые я прожил до заморозки и после того, как меня разморозили.

— Разморозили?

— Конечно. Это длинная история. Но вы наш, вы еще послушайте пролетарскому делу. Восстание близится, хотя день и час даже вам не могу открыть. Но оно неминуемо... Тяжелый кризис...

— Что, есть такая партия? — спросил я неожиданно, чтобы заставить его врасплох.

— Есть! Есть! — ответил он, не только не смущаясь, а, наоборот, радостно распахиваясь. — Только она сейчас в глубоком подполье.

Он стал быстро-быстро черпать ложкой мороженое, отправляя его в свой губастый рот. И теперь казалось, что в сладости мороженого он чувствует сладость восстания.

— Кто вас заморозил и кто вас разморозил? — спросил я, стараясь быть как можно более четким.

Глаза его горели решительно и мрачно. Он резким движением отодвинул опустевшую вазочку.

— Это долгая история, — глухо начал он, — в чем трагедия Ленина? Недоучел силу властолюбия большевиков. По ленинскому плану революция должна была иметь два этапа: разрушительный и созидательный. Сначала на первый план выходят боевики. Они захватывают власть. А на втором этапе созидатели. Но как только Ленин попытался начать замену, случилось покушение... За это я и получил пули...

Он замер и, посмотрев на меня остекленевшими глазами, вдруг спросил:

— Кстати, Плеханов жив?

Я не успел ответить, как он сам себя поправил:

— Умер! Умер! После заморозки память пошаливает. Иногда события, которые я пережил, кажутся мне рассказанными другими людьми. А события, которые происходили во время моей заморозки, кажутся мне происходившими на моих глазах... Так вот за это в меня и стреляли... Но были и верные люди. Особенно среди немецких товарищей. После ранения я лежал у себя в кремлевской квартире. Когда я стал выздоравливать, они подменили меня сормовским рабочим, очень похожим на меня. А меня вывезли в Германию, чтобы сохранить мне жизнь и помочь местной революции.

— Неужели, — спросил я, — вожди Октября могли спутать этого сормовского рабочего с вами? Это же невозможно!

— Конечно, — согласился он, — а что им оставалось делать? Было совещание в Политбюро. Сталин тогда сказал: «Пусть пока поработает этот сормовский рабочий в роли Ленина. Стаж его работы не будет утомительным. А мы будем искать настоящего Ленина и его похитителей. Камо придется ликвидировать. Он дикий, он будет кричать: „Я знал Ленина! Это ненастоящий Ленин!“»

В это время к нашему столику подошел один из парней, сидевших справа от нас. Это был краснорубашечник. Обращаясь к моему собеседнику с наглой почтительностью, он спросил:

— Скажите, пожалуйста, группа местных студентов интересуется, что делал Ленин первого сентября 1917 года?

Мой собеседник словно вынырнул из воды. Он стремительно повернулся к парню и заговорил горячо и толково, насколько толково можно было говорить в рамках учения.

— Более актуального вопроса вы не могли задать, молодой человек! воскликнул он. — Слушайте и запоминайте, это почти сегодняшний день! Первого сентября 1917 года в газете «Пролетарий» появилась ленинская статья, где он критикует выступления Мартова на заседании ЦИК Советов.

Мартов утверждает, что Советы, видите ли, не могут в данный исторический момент бороться за власть, ибо идет война с Германией. Борьба за власть могла бы, по Мартову, привести к гражданской войне.

Тю! Тю! Тю! Тю! Нашел чем нас испугать! Цыпленок вареный, цыпленок жареный... По Мартову получается, что мы, революционные демократы, должны сейчас в противовес давлению правых сил на правительство создать контрдавление. Ай! Ай! Ай!

Узнаете наших сегодняшних либералов, молодой человек? Получается, что правительство борется с крайностями, как левыми, так и правыми. Как будто правительство не в руках у правых сил! Вот она филистерская мудрость, вот он урок сегодняшним правым и центристам! Ленин призывал брать власть в свои руки, не считаясь с войной, не считаясь с филистерской мудростью добренького Мартова! Вы поняли, в чем суть выступления Ленина, молодой человек?

— Да, конечно, — сказал краснорубашечник, — я передам ребятам ваши слова.

— Идите и передайте, и пусть они действуют в согласии с Лениным!

Пока он говорил, молодой человек слушал его, исполненный издевательской почтительности. Друзья его тряслись от тихого хохота. Тот, что был лицом ко мне, прятался за тем, что сидел спиной ко мне. Было приятно и удивительно, что они все-таки немного стыдились своего розыгрыша.

— Вся надежда на них, — кивнул мой собеседник в сторону удаляющегося краснорубашечника, — давайте выпьем за них.

Я разлил коньяк. Мы подняли рюмки, и он вдруг вспомнил:

— А наш патриот спелся с Мартовым... То же самое говорил... Говорит...

— Кто патриот? — не понял я.

— Да Плеханов Георгий Валентинович, — ответил мой собеседник, — он всю мировую войну стоял... и стоит... Нет, стоял, но не стоит...

Мутное безумие заволокло его глаза. Он взглянул на меня умоляющим и как бы стыдящимся того, о чем он умоляет, взглядом:

— Он жив?

— Умер, — сказал я как можно более просто, чтобы не травмировать его. Я это сказал так, как если бы смерть произошла на днях и он, естественно, мог еще об этом не знать.

Он быстро поставил рюмку и обеими ладонями ударил по столу.

— Да! — воскликнул он вместе с ударом по столу, вспыхивая разумом. Как я мог забыть! Наш барин не выдержал обыск матросов! Выпьем за молодежь, штурмующую будущее!

Мы выпили, и я почему-то подумал, что тельняшка моего собеседника как-то связана с этим обыском матросов у Плеханова. Поставив рюмку, он из последней точки безумия легко перелетел в предыдущую и продолжал:

— На этом и решили. Не объявлять же народу, что Ленина выкрали. Народ мог восстать против правительства, у которого выкрали Ленина. Тут мы Сталина перехитрили.

— А Крупская знала об этом?

— Конечно. Я Наденьке дал партийное задание признать нового Ленина за старого и потихоньку обучать его ленинским нормам жизни как в Шушенском, так и за границей. Жизнь в Шушенском он освоил легко. По аналогии. Но заграничная давалась туговато.

— А Сталин знал, что Крупская знала о вашем похищении?

— Конечно, догадывался, — кивнул он, шумно прихлебывая из второй вазочки растаявшее мороженое, — он ее шантажировал, чтобы она выдала мое местопребывание. «Оказывается, у Ленина есть настоящая жена и дети в Сормове, — говорил ей Сталин, больно намекая на Инессу Арманд, — или вы нам откроете местопребывание настоящего Ленина, или мы ликвидируем двоеженца». Но Наденька молчала как партизанка. Особенно он допытывался, не участвовал ли Гриша в похищении меня.

— Какой Гриша?

— Григорий Зиновьев.

— Так он принимал участие в похищении?

— Знал, но не участвовал.

— А Каменев?

— И знал и участвовал. Без его технической помощи мы не могли обойтись.

— А Троцкий?

— Нет, нет и нет! Я ему никогда не доверял. Он был талантливый человек, но не наш.

— Что же вы делали в Германии?

— Я был занят по горло. С одной стороны, готовил шифрованные инструкции моему сормовскому двойнику. А с другой стороны, после подавления революции готовил рабочий класс Германии к приходу к власти мирным путем. Не удивляйтесь. Мое положение было архисложным. То, что я Ленин, знало только два человека. Для немецких товарищей я был русским революционером из ленинской школы в Лонжюмо. Это была трагедия, достойная Шекспира!

Живой Ленин учит немецких товарищей, что в новых условиях Веймарской республики можно прийти к власти мирным путем, войдя в союз с социал-демократами. А они мне говорят: «Найн, Ленин нас учил ненавидеть социал-демократов!» Я им говорю: «Ленин меняется в согласии с диалектикой!» А они мне: «Найн, найн, Ленин никогда не меняется!» Вот так Гитлер и пришел к власти, пока мы спорили.

После прихода Гитлера к власти немецкий ученый-коммунист заморозил меня по формуле Эйнштейна впредь до нового революционного подъема. Меня держали в Гамбурге на конспиративной квартире...

Тут он вдруг зашнулся и, взглянув на меня светлым, бытовым взглядом, сказал:

— Вы же депутат? Не могли бы вы, под видом помощи моей старой матери, она живет в коммуналке, отхлопотать мне жилплощадь? Мне нужна конспиративная квартира.

— Нет, — сказал я твердо, — этим должны заниматься местные Советы.

Я здорово обжегся на этой помощи. Одна женщина пришла ко мне домой с жалобой на свои квартирные дела. Она была с замученным ночевками где попало ребенком. Оказывается, она уже много раз приезжала из провинции и подолгу жила в Москве, таскаясь со своим ребенком и со своей жалобой по разным учреждениям. Горсовет отобрал у нее одну из комнат ее квартиры, считая, что она получена не вполне законным путем. Я сделал для нее всё, что мог. Связался с горсоветом ее города, написал письмо в Верховный Совет, оттуда направили в ее город комиссию. Но ничего не помогло. Вероятно, ее хлопоты не имели достаточных юридических оснований, а может быть, обычное наше крючкотворство.

Но тут она потребовала у меня, чтобы я устроил ей личную встречу с председателем Верховного Совета. Я, естественно, этого

не мог сделать и отказал ей. И вдруг она стала звонить мне чуть ли не каждый день и говорить чудовищные непристойности.

Мне эти звонки страшно надоели, и я рассказал о них одному знакомому, работающему в административной сфере. Он дал мне телефон милицейской службы, как будто занимающейся именно такими делами. Я позвонил и, не называя имени женщины, рассказал об этих гнусных звонках. Человек, который говорил со мной, так хищно заинтересовался этим делом, что я дал задний ход. Мне стало жалко эту, по-видимому, все-таки больную женщину. Я сказал, что пока не стоит этим заниматься, но, если она снова будет звонить, я с ним свяжусь.

И вдруг эти подлые звонки, которые длились больше месяца, как рукой сняло. Я не называл ее имени, а московского адреса у нее вообще не было. Как это понять? Случайное совпадение? Или кто-то, знающий о моем телефонном разговоре с милицейской службой, сказал ей: «Хватит»?

— Гитлер искал меня по всей Германии и не нашел, — продолжал мой собеседник, — а в конце войны Сталин искал меня под видом трупа Гитлера, но не нашел и загородился от меня Берлинской стеной...

Снова подошел к нам молодой человек в красной рубашке. На этот раз, извиняясь, он охватил взглядом нас обоих, и я почувствовал, что сфера насмешки расширилась.

— Извините, что прерываю вашу научную беседу, — сказал он, — но мы, студенты, интересуемся, что делал Ленин девятого марта 1909 года?

— Не менее актуально, — радостно воскликнул мой собеседник и махнул рукой в том смысле, что, в какой день жизни Ленина ни ткни, всё наполнено смыслом грядущего, — в этот день Ленин написал письмо своей старшей сестре Анне Ильиничне. Накануне он приехал в Париж из Ниццы, где ему удалось хорошо отдохнуть, что редко с ним случалось. По существу, сестра была редактором его книги «Материализм и эмпириокритицизм», которая выходила в издательстве «Крумбюгеля». Ленин уже тогда боролся с поповщиной и просил сестру не смягчать его формулировок против Богданова и Луначарского.

А сейчас поповщина захлестнула нашу прессу. Недавно на экране телика стоит в церкви бывший большевик и держит свечу как балбес. И в немалых чинах большевик. Спрашивается, если ты большевик, то что тебе надо в церкви? А если ты верующий, то какой же ты большевик? Как говорится в народе: в огороде бузина, а в Киеве дядька. Хотя, с другой стороны, потому-то наш идеологический огород порос бузиной, что дядя уехал в Киев или

куда подальше. Но ничего! Скоро придет! Полоть будем бузину, беспощадно полоть! Так и передайте товарищам!

— Спасибо, обязательно передам.

Он повернулся и пошел к своим друзьям, стараясь солидно вышагивать. Друзья уже тряслись от тихого хохота.

Меня вдруг осенило спросить своего собеседника, как он объяснит свое пребывание в нашем южном городе.

— Скажите, — обратился я к нему, — после заморозки вы появляетесь в этом городе, и никто не удивляется: как вы сюда попали? Кто вы? Откуда?

— Вы имеете в виду прописку? — спросил он и рассмеялся. — Прописка для подпольщика не препятствие. В этом городе такса — пять тысяч.

— При чем тут прописка, — сказал я, стараясь быть как можно вразумительнее, — вы же новый человек, а вас принимают за старожилу?

— Очень просто, — удивляясь моему удивлению, развел он руками, Степан Тимофеевич был и есть, а я здесь вместо него. Он в заморозке.

— Но ведь, если другие люди вас принимают за Степана Тимофеевича, мать его не могла ошибиться? — спросил я, чувствуя, что втягиваюсь в безумие и уже иду по второму кругу.

Он откинулся и опять расхохотался ленинским детским смехом. Отсмеявшись, стал утирать слезы кулаком, а потом сказал:

— Да никакой матери! Под видом его матери со мной живет моя старая секретарша. Ей сейчас девяносто шесть лет, а тогда было чуть за двадцать. У нее была своя маленькая драма. Чертовка Коллонтай отбила у нее возлюбленного. Она плакала на моей груди. Но что я мог сделать? Я вызвал Коллонтай и поговорил с ней. Но она, бой-баба, в ответ мне: «Революция в личную жизнь не вмешивается. Если вы поставите этот вопрос на Политбюро, я выдвину встречный! Почему вы после победы революции расстались с Инессой Арманд? Это не по-рыцарски».

Разве ей объяснишь, что председатель Совнаркома — это не эмигрант-революционер. На него смотрит весь мир — еще слишком буржуазный, чтобы понять новую революционную мораль. Именно чтобы победить этот мир, приходится с ним считаться до поры. «Ладно, идите», — сказал я ей. А что я мог сделать? Пришлось пойти на похабный мир с Коллонтай.

Иногда я своей старушке напоминаю о тех славных денечках, а она, бедняга, тихо плачет и причитает: «Степушка, что с тобой сделали большевики? Зачем я отдала тебя в институт? Зачем не спала ночей, обстирывала соседей? Будь проклят твой учи-

тель истории! Он говорил: „У Степы волшебная память. Он будет большим ученым“. Что ж ты обеспамятел, сынок? Что с тобой сделали большевики?»

«Да не большевики, — говорю, — мамочка, а термидор. Потерпи до победы. Уже скоро. И Сталин получит свое, и Коллонтай. Я специально напишу статью об ошибках Коллонтай».

А она упрется головой в ладонь и плачет:

«Сыночек, что с тобой сделали большевики!»

И я в конце концов выхожу из себя:

«Мамочка, не надо путать большевиков с термидором. Это грубая ошибка. Мамочка, никакая ты мне не мамочка. Моя мамочка давным-давно лежит в Ленинграде на Волковом кладбище!»

«Лучше бы я лежала на Волковом кладбище, — плачет она, — лучше б она здесь сидела и видела это».

— Хорошо, — сказал я, пытаюсь прервать его, — а где же настоящая мать Степана Тимофеевича?

— В заморозке, — сказал он бодро и добавил: — Как только мы победим, мы разморозим Степана Тимофеевича и наградим его орденом Ленина. Он заслужил.

— А мать? — спросил я.

— А мать выводить из заморозки нерентабельно, — сказал он, хозяйственно разводя руками, — ей почти восемьдесят пять лет.

Боясь, что последуют какие-нибудь малоприятные детали заморозки, я решил вернуть разговор в главное русло.

— Так, значит, после покушения Каплан до смерти в Горках не вы правили страной?

— Нет, конечно, но по моим инструкциям. Кое-где внес отсечку, но в общем правильно двигался к нэпу...

— Вы уж помолчали бы о нэпе, — не выдержал я, — разве это реформа великого государственного деятеля? Это всё равно что в овчарню, где в одном углу сгрудились овцы, а в другом волки, входит пастух и говорит: «Волки, овец не надо грызть. Их гораздо выгоднее стричь, продавать шерсть и покупать мясо. Нэп всерьез и надолго». Но как только он вышел, волки перегрызли овец. Зачем им шерсть? Вот оно, живое, дымящееся мясо. Великий государственный деятель потому и велик, что он создает законы и способы управления, которые нелегко разрушить.

Пока я говорил, он слушал меня, поощрительно кивая, иногда как бы пытаясь движением головы помочь мне глубже черпануть истину. Самое удивительное, что эти поощрительные движения головы и в самом деле помогали сформулировать то, что я хотел сказать, хотя направлены были как будто против него.

— Насчет овец и волков в овчарне вы попали в цель, — сказал он, разрешите записать. Я это сравнение провозглашу в первом же своем докладе после переворота. Тем более что я сам так думаю.

Он выщелкнул из-за ворота тельняшки авторучку, вынул из кармана блокнот и, склонив голову, стал быстро-быстро записывать. Я почувствовал, что устал от него, и разлил коньяк. Он четким шлепком захлопнул блокнот, положил его в карман и заткнул авторучку за край тельняшки. Мы выпили не чокаясь.

— Волки, — вдруг сказал он грустно и поставил рюмку на столик, — а как без волков возьмешь власть? Мои инструкции хронически запаздывали, то шифровальщик напутает в Германии, то расшифровщика арестуют в Москве... Только, ради Бога, не говорите мне о коллективизации, голоде, тридцать седьмом... Мне эти разговоры надоели. Я могу представить документы за подписью Эрнста Тельмана, что я в это время был в глубокой заморозке и ничего не знал... А вы знаете, где сейчас Сталин?

— Как где? — сказал я. — В могиле у Кремлевской стены, куда его перенесли из Мавзолея, где он лежал рядом с Лениным...

Тут я запнулся и посмотрел на него, понимая некоторую нелепость или даже бестактность этой фразы в данном случае. Он мгновенно угадал, почему я запнулся, и залился знаменитым ленинским детским смехом.

— Ничего-то, батенька, вы не знаете! — проговорил он, сияя и сверкая буравчиками глаз. — И никогда он не лежал в Мавзолее с Лениным или без Ленина, тем более что и сам Ленин там никогда не лежал. Не мог же я лежать одновременно в Мавзолее и в Гамбурге в заморозке? Абсурд! Там лежал и лежит тот самый сормовский товарищ. И положил его туда Сталин. А сам Сталин сейчас в Пентагоне...

— Как в Пентагоне? — не понял я.

— Пока в глубокой заморозке, — сказал он, — но в нужный для Америки час они его разморозят, возможно, даже проведут косметическую операцию и впустят в страну, если наш переворот будет удачным. А он обречен быть удачным. Драчка будет невероятная. Я дам ему последний бой и за всё отомщу.

С этими словами он опустил глаза и достал из кармана старинные серебряные часы на цепочке. Щелкнул крышкой, метнувшей солнечный зайчик, и посмотрел время. Снова щелкнул крышкой и спрятал часы.

— Как раз мне сейчас надо звонить по этому поводу, — сказал он, — а потом я приду и расскажу, как Сталин от Берия удрал к Франко и как его там заморозили. Ждите и помните, что вы наш. Вы еще пригодитесь для пролетарского дела.

— Ничего не понимаю, — сказал я и вздрогнул, чувствуя холода неведомой заморозки.

— Поспешешь сказать — опоздаешь сделать, — загадочно произнес он в ответ и, резко встав, быстро пошел к выходу, рябя на солнце своей тельняшкой.

* * *

Жирная, мускулистая спина, обтянутая тельняшкой, решительно удалялась. Глядя на нее, я подумал: миром правит энергия безумцев.

Но если мир всё еще жив, значит, есть и другая энергия, другой уровень понимания человека. В учении Христа, может быть, всего удивительней то, что уровень понимания человека высок, но не завышен.

Чтобы там ни говорили богословы, я думаю, что Христос создал свое учение именно как человек, а не как Бог. В его учении нет ничего такого, что не было бы подтверждено человеческим опытом. Если что и было в его учении божественного, так это точность в понимании реальных возможностей человека.

Было бы странно и непоследовательно, если бы он, будучи Божьим Сыном, принял смерть именно как человек, а учение, которое он оставил людям, было бы результатом божественного откровения. Как раз потому, что он учение свое создавал на основании пусть и гениального, но человеческого опыта, он и смерть принял как человек неохотно, томясь духом, тоскуя.

Уподобляясь древним грекам, представим случившееся так. Бог сказал своему сыну:

— Что-то я перестал понимать людей. Один глупый рыбак может так запутать леску, что десять умных рыбаков ее не распутают. Сойди к людям и пройди как человек весь человеческий путь. Дай им урок и возвращайся обратно. Но если и это им не поможет, я эту лавочку прикрою вообще.

Кажется, подвиг Христа был бы гораздо убедительней, если бы он, родившись человеком, забыл, что он Бог, и люди узнали бы об этом только после его воскресения. Но это только кажется.

Если бы Христос не знал, что он Богочеловек, не было бы не только подвига его человеческой смерти, но и не было бы подвига снисхождения Сильного к Слабым, дабы помочь им восстановить силу духа. Это урок терпения и любви, тем более что мы понимаем: при повышенной тупости учеников он мог в любой миг прервать этот урок и удалиться от людей. Но он не прервал урок, его прервали.

Человек ужасно не любит снисходить. И чем упорнее, обдирая ногти, он карабкается вверх, тем неохотнее он снисходит к тем, кто

внизу. Но чем сильнее человек, чем легче ему дается высота, тем легче он нисходит к слабым. По легкости снисхождения к слабым мы познаем истинную высоту человека.

При всей своей внешней простоте учение Христа гибко следует природе человека, протягивая ему руку, когда он падает, и удерживая его от гордыни, когда он возвышается.

Человек живет, преимущественно ориентируясь или на уколы совести, или на логику выгоды, пусть иногда и широко понятую.

Уколы совести тормозят жизнь, заставляют отступать, делать зигзаги на жизненной дороге, но это настоящая жизнь без обмана и самообмана, где тише едешь, дальше будешь.

Человек, следующий логике выгоды, не склонен обращать внимание на уколы совести. При этом чем шире логика выгоды, скажем якобы выгода всего человечества, тем глуше уколы совести. Человек, следующий логике выгоды, видит ясные стреловидные дорожные знаки, не подозревая, что это вытянутые змеи и они могут привести только к змеиному гнездовью.

Рационалистическая организация общества — это та же логика выгоды, разумеется широко понятая. Она всегда сводится к тому, что, прежде чем поднять человека, на него надо наступить.

Но если рационалистическая модель общества сводится к тому, что на человека надо наступить, прежде чем его поднять, не является ли само желание наступить на человека подсознательно первичным, а вся остальная модель разумного общества наукообразным оправданием этого желания.

Крупская в своих удивительно тусклых воспоминаниях о Ленине рассказывает вот что. Ссылка в Сибирь. Ленин развлекается охотой. Страшно азартен. Осенний Енисей. Идет мелкий лед, шуга. Ленин с товарищем по ссылке на лодке переправляется на островок, где полно застрявших там и уже выбеленных зайцев. Они стреляют по зайцам. Зайцы мечутся по островку. Им некуда деться. Они мечутся, как овцы, простодушно пишет Крупская. Из этого следует, что островок был совсем крошечным, потому что бег зайца совсем не похож на бег овцы. Но зайцы в этих условиях бесполово мечутся и обречены как овцы. Отсюда и сравнение с овцами.

Охотники стреляют и стреляют по зайцам. Набили полную лодку зайцев, пишет Крупская. Из ее слов видно, что так бывало не раз. Значит, Ленин не случайно однажды сорвался, увидев множество зайцев? Это важно.

Всякая охота предполагает, что охотник имеет шанс убить дичь. А дичь имеет шанс улететь или убежать. Здесь у зайцев никаких шансов не было. Это была бойня. Прообраз грядущей России.

Владимир Ульянов дворянин. Образованный человек. Нет никакой возможности сказать, что он не ведает, что творит. Здесь мы видим более или менее завершенного Ленина. Натура в чистом виде.

Но когда он стал собой? Я думаю, с юности он не мог не замечать, что его часто заносит. Не обязательно внешне, как с этими зайцами, скорее внутренне. Охладев от азарта, он не мог иногда не почувствовать омерзение, может быть, не столько от своих поступков, их еще могло и не быть, сколько от мыслей о том или ином человеке, исполненных ненависти или презрения.

В то же время, будучи невероятно самолюбив, он не мог не заметить, что в учебе он гораздо одареннее многих. И это окрыляло его и утешало. Временами, может быть страдая от своего бушующего темперамента, он не мог не пытаться связать со своей одаренностью и оправдать своей одаренностью ненависть и презрение к людям. Такое желание, я думаю, было, но до конца сгладить это противоречие он не мог. Мешало то воспитание, которое он получил в семье.

Учение Маркса его должно было ошеломить. Это был взрыв радостного самооправдания! Отныне он благодарно и ревностно будет до конца своих дней служить освободителю своей совести.

Если вся история человечества это борьба классов, а гармоническое общество будущего это победа пролетариата над буржуазией, то какая может быть вечная или тем более общечеловеческая мораль? Предстоит великая драчка! Вот, оказывается, почему всегда чесались руки, всегда хотелось бить по голове. Это дар прирожденного революционера.

В пустыне истории караван человечества должен дойти до оазиса социализма. Но караван может разбредаться, останавливаться, сворачивать. Нужен хороший погонщик с хорошим кнутом. Отныне он будет великим погонщиком каравана! Оставьте совесть и не оглядывайтесь на нее! Я знаю, где, когда и как! Вот о чем кричат его статьи и выступления.

Горестная судьба казненного старшего брата Александра как-то заставляет нас забывать, что он был человеком, хладнокровно и методично готовившимся к убийству царя. Он был убийцей, случайно не завершившим свой замысел.

Чем гадать, как мои чегемцы, а не был ли он, Ленин, мстителем за кровь брата, гораздо реалистичнее предположить, что у них был общий склад темперамента. Недаром они так страстно резались в шахматы и радовались, когда превзошли отца в искусстве этой игры.

То, что я называю уровнем понимания человека данным от природы или этическим слухом, порождает определенный тип сознания. Подобно тому как у Гамлета бесконечная рефлексия

вытесняет и отодвигает решительные действия, есть противоположный тип сознания, когда готовность к действию вытесняет и отодвигает рефлексию.

Такой тип сознания я бы назвал уголовным типом сознания. Наивное восхищение Ленина разбойником Камо, разбойником Кобой, пока тот в обличии Сталина не стал угрожать ему самому, провокатором Малиновским, пусть он и не знал, что тот провокатор, всё это выдает его с головой. Психическая примитивность и легкость на расправу всегда приводила его в восторг. Это видно по письмам и запискам.

Сильный уголовник может долго обдумывать, как лучше ограбить кассу, но, сколько бы он это ни обдумывал, тут нет рефлексии, а есть попытка овладеть технологией своего замысла. Ленин был человеком уголовного типа сознания. Ни образование его, достаточно обширное, ни грандиозный социальный переворот, который он совершил, не должны заслонять от нас этой истины.

Когда-то в юности я поразился сходством загримированного Ленина семнадцатого года с изображением Пугачева. Те же раскосые глаза и затаенное лукавство. Но тогда я не только о Ленине, но и о Пугачеве так не думал. Удивительно не то, что историей чаще всего двигали люди уголовного типа, гораздо удивительней то, что иногда ее двигали и благородные люди.

* * *

Пока я думал о Ленине в ожидании его безумного двойника, в «Амру» вошла красивая юная женщина, катя перед собой коляску. Она остановилась у входа, оглядывая столики. Явно кого-то искала.

— Ребята, атанда! — сказал один из молодых людей. — Пришла жена Бочо. Если она увидит, что он привез сюда одних девушек, будет шухер. Пригнитесь, чтобы она не заметила нас. Может, уйдет.

— Уже заметила!

— Зурик, сними свою рубаху и помахай ему, чтобы не подошел сюда!

— Он не поймет!

— Поймет! Поймет! Скорей!

Парень в красной рубахе неохотно встал, отошел к концу «Амры», стянул с себя рубаху и стал махать ею в воздухе. Женщина, катя перед собой коляску, подошла к ребятам. Она остановилась возле их столика, поздоровалась и спросила:

— Ребята, Бочо не видели?

— Нет, а что?

— Он мне нужен. Он иногда здесь подхалтуривает.

— Нет, его здесь не было. Он, наверное, на пляже халтурит.

Женщина присела на место краснорубашечника. Тот продолжал лениво махать своей пламенной рубашкой. Чувствовалось, что он не верит в эту затею.

— Наташа, это правда, что вы с Бочо открываете кофейню? — спросил один из ребят.

— Правда. Закажи мне кофе, Даур.

Тот молча встал и пошел заказывать кофе.

— Папа мой дал нам деньги, — сказала юная женщина и, протянув голые, струящиеся руки, что-то поправила в коляске, — Бочо ищет помещение для аренды. Как вы думаете, справимся?

— Конечно, — в один голос сказали оба приятеля. А потом один из них добавил:

— Спокуха, Наташа. Если Бочо будет хозяином кофейни, народ отсюда поперет туда. Люди будут платить деньги только за то, чтобы послушать его хохмы. Твой муж любимец города. Можешь им гордиться.

— Да, но, — сказала юная женщина и посмотрела в коляску, — пора серьезным стать. Тридцать лет, двое детей, а у него все хохмы на уме.

Тот, что пошел за кофе, принес чашечку дымящегося напитка и осторожно поставил перед женщиной.

— Спасибо, Даур, — сказала молодая женщина, взяв чашечку, осторожно отхлебнула. — У нас будет кофе лучше, — сказала она.

Раздался шум приближающегося глссера. Пламя рубашки у того, что стоял в конце «Амры», заметалось в руке как от ветра.

— У вас будет лучшая кофейня в городе! — с пафосом сказал тот, что с ней разговаривал. Он тоже явно услышал шум приближающегося глссера.

— Лучшая не лучшая, будем стараться, — сказала молодая женщина и снова отхлебнула из чашечки.

— Весь город будет ходить только к вам! — восторженно сказал тот, что с ней разговаривал. — Послушать Бочо — лучшего кайфа не надо!

Шум глссера приближался. Пламя рубашки металось как под ураганным ветром.

— Он слишком старается всем понравиться, — рассудительно сказала женщина, — так тоже нельзя. Надо больше семье внимания уделять.

Шум глссера нарастал. Тот, что махал рубашкой, теперь, казалось, горящей головешкой отбивается от дикого зверя. Женщина что-то почувствовала и посмотрела в сторону моря. Но, видимо решив, что глссер ее мужа не единственный в бухте, перевела взгляд на коляску.

— Все ребята знают, что Бочо верный муж! — воскликнул ее собеседник. Он не гуляет.

— Попробовал бы, — грозно сказала юная женщина, снова прислушиваясь к шуму глассера и как бы отчасти обращаясь к нему.

Шум глассера с визгом смолк у самой пристани «Амры». Пламя рубашки бессильно повисло на руке сигнальщика.

— Город гордится твоим мужем! — в отчаянии крикнул тот, что успокаивал жену Бочо.

В это время голова Бочо появилась над перилами «Амры». Не замечая жены, он весело крикнул:

— Девушки, где вы?

Несколько девушек подбежало к нему. Жена его, чуть пригнувшись, замерла за столом. Теперь это была юная пантера перед прыжком. Дав девушкам добежать до мужа, она взвихрилась и полетела в его сторону, крича:

— Какие тебе девушки, подлец!

Разметав девушек, она схватила мужа за волосы и, что-то крича, стала выволакивать его на палубу «Амры». Ребята побежали вслед за ней. Но она успела выволочь его на палубу ресторана. Она продолжала трясти его, уцепившись ему в волосы.

— Ты что? Ты что? Я работаю! Я зарабатываю на детей! — доносился его растерянный голос.

— «Девушки, где вы?» — с презрением передразнивая его, кричала она, продолжая дергать его за волосы, словно пытаясь с него снять скальп. Наконец подбежавшие ребята разняли их и подвели к своему столику.

Вид у Бочо был растерянный. Волосы уцелели, но были всклокочены.

— Ишачу целый день на семью, и вот тебе благодарность, — сказал он, усаживаясь.

— Тогда при чем тут девушки, — всё еще тяжело дыша, грозно посмотрела на него жена, — что они, платят больше? Ты что, сутенер?

— Ладно, Наташа, успокойся, — сказал тот, что и до этого ее успокаивал.

Он взял ее за руку и усадил рядом с собой.

— Слушай, человеку тридцать лет. Двое детей, — сказала она усаживаясь, но всё еще доклокатывая, — а он только и знает: «Девушки, где вы?»

— Ладно, Наташа, выпьем по кофе, и успокойся, — сказал тот, что и до этого ее успокаивал, — тебе ли ревновать? Ты же красавица!

— Не в этом дело. Мне надо в поликлинику, я не могу на третий этаж поднимать коляску. Пришла за мужем, а он: «Девушки, где вы?»

— Оставила бы коляску внизу, — сказал Бочо, уже весело озираясь, своим поведением ты мне портишь бизнес.

— «Оставила бы внизу», — повторила она насмешливо. — Сопрут такие, как ты. Вставай, пошли.

Неожиданно она сама встала, достала из коляски гребенку, подошла к мужу и стала причесывать его.

— Такая красавица и такая ревнивая, — элегически заметил тот, что ее успокаивал.

— А ты что заладил: «красавица, красавица»! — сказал Бочо, явно наслаждаясь под гребенкой жены, как под струей теплого душа. — Наверное, пока меня здесь не было, ты ей назначил свидание. Жене друга назначил свидание! Какие нравы! А я еще хотел доверить тебе готовить в нашей кофейне чебуреки. Тому, кто назначает свидание жене друга, нельзя доверять чебуреки.

Все рассмеялись.

— Будешь так себя вести, — сказала жена, дочесывая его гребенкой, может, кто-нибудь и назначит свидание. Пошли, пошли, у нас времени нет. Чао, ребята.

Бочо встал. Он заглянул в коляску и сказал:

— Наследник лучшей кофейни Мухуса. Он спит, а ему уже бабули капают.

Бочо взялся за ручку коляски, и они пошли. Как только они скрылись из глаз, ребята стали высмеивать краснорубашечника.

— Бочо летит на глоссере, а он машет рубашкой. Тоже мне матадор, сказал Даур.

— А что я должен был делать? — ответил тот, смахивая пальцем невидимую пылинку с рубашки, хотя он ее так натряс, что на ней не могла остаться ни одна пылинка.

— Ты должен был бросить ее в воду. И тогда Бочо понял бы: случилось что-то ужасное, раз ты бросил в воду свою рубашку.

— А если бы рубашка утонула? — сказал Зурик.

— Поньряли бы, — ответил Даур, — или вызвали бы водолаза.

— Течением могло бы унести, — с дурашливой серьезностью поправил его хозяин рубашки и снова щелчком стряхнул с нее невидимую пылинку.

<...>